

Адушко

Чашка разбилась. Мама поставила на край стола, а Ада смахнула по рассеянности — и чашка разбилась. Печально взвизгнула, ударяясь о пол. Царапнула осколком ладонь.

— Адушка, не лезь, я уберу сейчас. Кузьма, и ты не лезь, кому сказала?

Кузя весь сжался, выгнулся, обошел чайную лужу и прыгнул на подоконник.

— Я не хотела. Я же нечаянно. — Ада растерла кровь по руке, и мелкие складочки очертились красным. По линии жизни: у запястья «Спортивная», дальше «Фрунзенская», «Парк культуры», «Кропотkinsкая», самый центр ладони — «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд», «Лубянка» с переходом на линию ума — «Кузнецкий Мост»...

— Ничего страшного, Адушка. Подожди, сейчас тебе новый чай сделаю.

Ада слизнула кровь с ладони — больно. А если еще одна чашка разобьется — так можно и от потери крови умереть.

— Не надо. Не хочу чай.

Оставив сгорбившуюся над осколками маму, Кузю на подоконнике, недоеденную яичницу и недосмотренные новости, Ада выплеснулась на улицу как была — в скатавшемся домашнем платье, перешитом из бабушкиного парадно-выходного. Только на пороге задержали босоножки, запутавшиеся ремешками на пятке. Район встретил ее, не особенно прихорашиваясь, — с мусорной машиной у подъезда, с неубранными с асфальта бутылочными стеклышками, с мутными лужами на тротуаре. Так, приглашая хороших друзей, не убираешься в квартире, мол, бардак — это высшая степень доверия. Улица была с Адой честной, с нечищенными зубами и неубранными волосами, как с похмелья.

Ада шла к рынку — перепрыгнула оградку, сквозь детскую площадку и клумбу, по нетоптанной траве, по влажному песку, забивающемуся между пальцев.

Она пила чай каждый день уже два года. Каждое утро мама заваривала в одной и той же чашке. И сейчас — когда пальцы прилипали к ладони от подсыхающей крови — Аде казалось, что разбилась не только чашка, а в каком-то смысле вселенная. Все стало по-другому — и свет ощущался иначе, и воздух, и тело, не tremoliрующее от внутреннего кипяточного жара. Только рынок остался прежним.

Ада помахала тете Ани — та всегда, морщинисто подмигнув как бы втайне, бросала в мамин

пакет большой и жилистый, как сердце, помидор — мол, Адушке, даже когда Адушке перевалило за двадцать. Мама надолго останавливалась разговаривать непонятные взрослые разговоры, и Аде оставалось продавать глаза проходящим людям, подгнившим сливам и осам, застывающим в полете над виноградом. Ада думала: а если оса попадет в пакет, он будет весить больше? а если оса в пакете взлетит? Тете Ани на лицо падал синеватый от свет растянутой над прилавками плащовки, и седина в черных волосах отливалась мистическим сиянием.

— Адушка! А ты чего ж без мамы сегодня? — спросила тетя Ани, грузно переставляя ящики с ранними желтоватыми абрикосами — она почему-то всегда называла их «жерделами» и ссыпала непременно в «кулек».

— А я просто! — ответила Ада. — Прогуляться решила, без мамы. Как у вас?

— Да помаленечку. Ругаться ходила сегодня с жэком-потрошителем, вторую неделю, как кроты, без света, так они мне знаешь что?..

От взрослых разговоров Ада проваливалась в транс, в неприкаянность и рассеянность. Будто не с ней говорят, будто маме — о жэках и потрошителях, мужьях и свекровях, пьющих детях и толковых парикмахерах. Ада такого не понимала — она любила говорить о Кузе, какая у него мягкая шерстка на животе, как смешно он во сне хрюкает, потому что курнос, как мама и как она сама, как ему отгрызли кусочек ушка и как его

лечили, как в прошлом году по всему двору развелось котят с таким же, как у Кузи, белым пятнышком на лбу, и мама назвала его Дон Жуаном. Еще Ада помнила гороскопы, все-все, что были в новостях, и могла кому угодно рассказать, что его сегодня ждет, как предсказательница, — только сегодня она новости не досмотрела. Ада любила «Секретные материалы», Фредди Меркьюри и стихи с новогодних открыток — а все взрослое не любила.

Она кивала, рассматривая черный загар тети Ани, не забравшийся в складки у глаз и губ, будто на раскаленной сковороде ее лицо схватилось, но внутри осталось сырьим. И, как бывает иногда, если долго вглядываться в лица, — увидала что-то другое: горбинку некогда сломанного носа, вовсе тете Ани не принадлежащего, белесую сизость в ее карих глазах, крупный шлепающий рот на месте ее тонких губ, юношескую впадость там, где была здоровая полнота щек. Ада проморгалась, но новое лицо не ушло. Ей показалось, она уже видела его раньше — как будто в детстве, как будто в прошлой жизни, как будто во сне.

— До свидания, теть Ани!

— Ну ты запомнишь? Маме передашь?

Ада кивнула и утекла в тонкий проем между лавками, к последнему ряду. Он особенно пах, и чем глубже в рынок, тем сильнее — не сладостью клубник и абрикосов, а томной духотой парфюма, впитавшейся пылью, капроновыми

колготками, ветхой бумагой. Там, в архипелаге барахольщиков, между виниловыми пластинками и гэдээрским фарфором уже разбирала коробки тетя Вета — маленькая, меньше самой Ады, женщина, сухая и звонкая, как Снегурочка или принцесса Диана. У Веты были чемоданы вельветовых костюмов, газовых платьев, расшитых бисером кофточек, шелковыхочных рубашек и туфель на каблуке. Мама говорила: за бесценок продает, но куда такое носить?

— Здрасте, теть Вет, а платьишко мое любимое купили уже?

— Купили, Адюш. Но иди сюда, что-то покажу.

Вета распахнула коробку — и Аде показалось, что в ней, свернувшись, сидит большой мохнатый зверь.

— Ой, а кто это у вас?

— Лисица. Я как решила... Зима не скоро еще. Продам шубу, куплю дубленку, мне Тамила обещала скидку сделать, если успею. Может, еще чего Леночке на институт останется. Примеришь?

Аде на плечи упала приятная дорогая тяжесть, запах меха, шкафа, кладбищенских хризантем и спирта, мамы, бабушки, женственности. В забрызганном зеркале отразились, как сквозь звезды, большие покатые плечи, два величественных валика воротника на груди, заменяющих как бы настоящую Адину грудь, рыжие полы до самых щиколоток.

— Красота какая!

— Ну царевна просто, — рассмеялась Вета. — Она еще теплая такая, в минус тридцать спокойно. И моль поесть не успела. Ты у мамы-то спроси, не нужна ей шуба?

Ада покрутилась, представляя себя действительно какой-нибудь царевной. Рынок смазался в пеструю волшебную карусель. Стало жарко, но снимать шубу ужасно не хотелось.

— А зачем вы такую красоту продаете? Я бы за такую шубу...

— Вот и я бы раньше за такую шубу. Но теперь — сама понимаешь.

Ада не понимала — Ада кивнула. Мама говорила не спрашивать Вету на больные темы. Еще говорила с жалостью, мол, царствие небесное Игорю. И иногда говорила с язвочкой: ну посмотрит хоть, как нормальные люди живут.

— Ну стой, стой, голова закружится. — Вета остановила за плечо. Приобняла, погладила по голове. — Ну красотка! Все, снимай, спаришься.

После шубы задышалось просторно и приятно, будто Ада не вдыхала, а летела. Вета встала на табуретку, чтобы повесить шубу на вешалку под потолок — или тот кусок простины, что здесь назывался потолком. Рынок, весь затянутый сверху тканью, был похож на цирк шапито, который однажды приехал и остался на всегда.

— Еще что-то, Адюш? Ты по делам или просто?

— Я просто. Мне... дома сидеть не хотелось.

Не скажешь же прямо, что испугалась чашки. Осколков, чайного пятна на полу, звука и общего ощущения хаоса. Не скажешь же, что вселенная утром будто раскололась на несколько частей, и как теперь пить чай, как теперь жить, если из другой чашки, — непонятно.

Вета улыбнулась. Губы у нее были полные, нос с горбинкой, щеки впалые, глаза умные — у таких глаз никогда не появляется складочек от улыбки. А может, люди с умными глазами вообще как-то иначе улыбаются — Ада не знала, у нее самой не получалось давно. Черты другого, несколько минут назад увиденного у тети Ани лица снова простили. Глаза серые — и радужка венчается темной полосой. Зубы, зубы кривые и крупные, нежно-желтые от сигарет, а еще ямочка только на левой щеке — и как Ада могла забыть?

— Пойду я, теть Вет. До свиданья!

— Пока, Адюш. Про шубу спроси, не забудь.

Она шла через ряды, мимо баракольщиков и рукодельниц, мимо мяса и сыра, кваса и чайного гриба, впитывая кислые, сладкие, соленые запахи и неся на плечах тот самый — запах взрослости, тяжелой царственности. Рынок был ее любимым местом из тех нескольких, где она обычно оказывалась: в больнице было слишком много старух, а на бабушкиной даче — комаров, а на рынке все было славно. Он напоминал, что мироздание все-таки чаще всего постоянно и что, даже если все рассыплется, выключится,

исчезнет, — рынок останется, и тетя Ани останется, и Вета, и их помидоры с платьями.

— Ада! Тебе говорю, ну! Чего одна?

— Да так, дядь Вов. Гуляю.

Дядя Вова, по большому счету, был никакой не дядя и не Вова — ему было лет тридцать, а звали его на самом деле Вольдемар. Он ходил в большом квадратном пиджаке и в бескозырке на лысеющей голове, а на рынке продавал собственного производства самогон — по слухам, какой-то волшебный, хотя сам дядя Вова утверждал, что весь самогон волшебный.

— Поди сюда, пока мамка не видит, а? Ты, небось, и не пробовала ни разу? Да не смотри на меня так, тебе бесплатно.

Мама говорила у незнакомых ничего не брать — но какой дядя Вова был незнакомый, с таким-то горбатым носом и многозубым ртом, с таким-то скрипящим и хрипучим тенором?

Они сели за этажеркой, заставленной трехлитровыми банками и бутылками из-под «Столичной». Под Адой пошатнулась и успокоилась складная табуретка. Дядя Вова протянул пластиковый стаканчик, примятый с одной стороны и едва ли наполовину полный.

— Давай, Ада, не ссы. Лучше со мной, чем за гаражами где-то, да? Хоть попробуешь.

Раньше Ада пила только вино — один раз, когда только поступила в поварское, на пожарной лестнице между парами. С ней была одногруппница Люся — из-под майки были видны ее

белый живот с родинкой у пупка и лямки настоящего лифчика с косточками. Она красила губы и широко улыбалась светло-розовыми полосами на зубах. Люсе, парню ее Гене, какому-то Лехе и старшекурснику Тиме Ада рассказывала их гороскоп, а они чокались найденными в аудитории кружками, и все было ясно, тепло и весело — сентябрьское утро, рыжие перила, восковой вкус Люсиной помады, сама Люся, которая не переставала смеяться и попискивать, мол, не умеешь, не кусайся.

Из поварского Ада отчислилась в январе: как-то не получилось учиться. И потом поступить куда-то тоже не получилось, да и не хотелось.

Она понюхала самогон — он пах не кисло, как вино, а остро и тошнотворно, и Ада хотела было отказаться, но дядя Вова на нее смотрел, а знакомые черты, надорвав, как пакет молока, край познаваемой реальности, проступали изнутри. Ей казалось: вот-вот, сейчас, она все поймет, все вспомнит. Выпили.

— Ну как тебе?

— Отвратительно, — честно ответила Ада.

— Давай еще по одной, легче пойдет.

Дядя Вова подвинул к ней свою табуретку и налил еще. Ада все смотрела, смотрела на него — так бывает, когда забываешь, куда дела ключи или что означает крестик, начириканный ручкой на ладони, как зовут троюродного племянника или что еще нужно нарезать в салат оливье. Она выпила еще, и на колено ей

опустилась большая, опущенная тонкими волосками лапа. Поелозила по бедру.

— Мамка-то твоя, наверное, вообще жизни тебе не дает, да?

Ада не поняла, что это должно было значить: как это — жизни не дает? Поэтому она промолчала. Лапа поползла вверх, сминая некогда башкино платье.

— Ты, небось, и целоваться не умеешь. Давай научу, чтобы перед мальчиками не позориться.

И когда его колючее лицо мокро размазалось по ее лицу, Ада вспомнила.

«Заяц! У меня все хорошо. Ноги берцами стер, но кормят нормально, хоть похудею наконец-то. Маме привет. Скучаю по вам двоим красивым — очень! Кузю в нос от меня поцелуйте».

Его звали Гришой — он был всегда высокий, загорелый и взрослый. Говорил, что сам выдумал Аде имя. В детстве сажал себе на спину и катал по квартире, как пони. Чинил ее игрушки — «я же единственный мужчина в доме». Когда Адины вещи вытряхнули из портфеля в окно, такого леща залепил однокласснику, что чуть не загремел в детскую комнату милиции. Выпускаясь из школы, тащил Аду на плече, пусть она была уже большая и тяжелая. И она звенела, звенела колокольчиком и все думала, что отдаст Грише что-нибудь своими вечно торчащими костями.

Было в нем что-то от несуществующего папы, от вообще идеи отца, никогда Аде не понятной,

от Конька-Горбунка, от Фредди Меркьюри и от Бога — и письма из армии у него были длинные и нежные, и на фотографиях он был красивый-красивый, даже с неправильно сросшимся носом, даже с подростковыми усиками восьмом классе, даже с нечесанными патлами.

— Какая же ты, блядь, психованная! Психованная дура! Уебывай отсюда на хуй, пока я тебя не убил к чертовой матери!

Почему-то вокруг был вечер, темно-синий рынок, сваленная этажерка, осколки стекла и текущие лужи, пахнущие больницей. Ада вскочила, уронив табуретку, и побежала обратно — сквозь прилавки, рассыпчатый песок, траву и детскую площадку, спотыкаясь об оградку.

Она почувствовала, что улыбается, глупо и почти болезненно, впервые за два года. И руки — впервые за два года стали легкими, и Ада широко болтала ими в воздухе, почти не обращая внимания на взгляды прохожих.

— Где он? Почему он уехал? Он приедет? — спросила она с порога.

— Кто, Адушка? Где ты была?

Глупая, глупая мама — застыла у плиты со своим глупым половинником и глупым котом в ногах.

— Гриша! Куда он уехал? Снова в армию? Почему он нам не пишет больше? Где его письма? Ты их скрываешь от меня?

— Ты не переживай, главное, Адушка. Давай я тебе чайку сделаю? Посидишь, успокоишься...

— Я не буду пить чай! Я не буду пить чай из разбитой чашки! Я порежу себе рот!

Мама растерла глаза руками — смяла лицо, как грязную салфетку.

— Сядь, пожалуйста.

— Я не хочу!

— Умоляю, Адушка. Гриша сейчас в другой квартире живет. Давай ты сядешь, а я ему позвоню. Он к нам приедет. Сейчас приедет.

Ада грохнулась на стул. Все было неправильно: обои в вензелечках, напоминающих смеющиеся лица демонов, сотейник и сковородка на плите, оставляющие на дверцах кухонных шкафчиков матовые следы пара.

Мама ушла в большую комнату, к телефону. Звонить Грише, объяснять, куда приехать. Из приглушенной коврами и стенами речи Ада разобрала свой адрес.

Она встала к шкафам. Высыпала специи, вынула тарелки и чашки — и в каждой искала его письма: куда-то же мама должна была их спрятать?

Минут двадцать, не больше, — в дверь позвонили. Ада вскочила, выбежала и сразу упала в Гришины большие объятия, спрятала нос в широких-широких плечах — что Москва-река поперец. И Гриша пах так же, как раньше, — тяжелым мужским потом, сигаретами, зубным порошком, кремом для обуви.

— Простите, что поздно так, мне просто сказали звонить, если вдруг опять, — затараторила

мама. — Она таблетки сегодня не выпила, чашку разбила, испугалась...

— Выписки есть? — спросил Гриша.

— Ой, были где-то, подождите секундочку...
Я ж собирала даже...

Ада врезалась носом в Гришину ключицу, вгрызлась зубами — небольно, ласково, не зная, как еще объяснить. Секунду спустя оказалась прижата спиной к чьей-то еще груди, с руками, заведенными назад. Обернулась — за ней тоже был Гриша.

— Вот, нашла, кажется. Простите, надо было раньше найти, я что-то не подумала даже... — продолжила мама. — Давно не было просто, сначала совсем ничего, а потом, как Гришеньку похоронили, так...

Глупая, глупая мама — какое похоронили? Гриши, двоящиеся, как отражения в стеклопакете, взяли Аду под руки и куда-то повели — и она чувствовала, что не будет больше никаких обоев, никаких половников, никаких взрослых разговоров, чашек и рынков — только наказанные обидчики, починенные игрушки, выпускные, крылатые качели и колокольчик — динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь.

* * *

— Да посмотришь ее, ну! Просто посмотришь. Она интересная. Ты психоз сам хоть раз видел? — Дверь хрипло, деревянно гудела и топала. — Только очки сними.

— Я без них ничего не увижу, — ответил кусочек стены шершавым тенором.

— Ладно, — буркнула дверь. — Голову береги.

Его выбросило в палату — длинного, в халате распахнутого, молодого — вместе с табачным запахом и шарканьем туфель.

— Гриша? — спросила Адушка, сев в постели резко, до цветных точек.

— Гера. Здравствуйте.

И как-то нежно у него это «здравствуйте» получилось, и как-то свет из окон лег ласково, и как-то улыбаться снова выходило. И улыбаться было прекрасно.

Вадим Сапер

Вадим сидел — острый, ершистый, ощерившийся. Опирался крепкими руками на стол, почти ложился грудью, разлинованной рубчиком водолазки. Гранкин и сам хотел бы так лечь: он еще не привык вставать в пять утра (да и невозможно было к этому привыкнуть) и тело клонилось к земле, будто корни вырвало ветром.

— Борщевиков Вадим, верно?

Вадим кивнул, и его голова, не завершив движения, осталась наклоненной.

— Меня зовут Герман Васильевич, я ваш лечащий врач. — Гранкин сел напротив, поправил сквозь халат ключ от палат и сплющенную пачку сигарет.

— Пиздишь как дышишь, — выхрипел Вадим. — Студент ты, а не врач.

— Молодой врач, они бывают. А вы хотели бы, чтобы вас кто-то конкретный лечил?

Вадим поднял взгляд — вверх поехали брови и линия роста волос:

— Да мне плевать, на самом деле. Я ж не псих.

— Конечно нет. Кто вам такое сказал?

— Да мамка, кто. Ну, ты видел ее небось, она притащила. Но я думаю, она просто бесится, что я с работы свалил.

«Мать промелькнула», — подумал Гранкин. Но рано про мать. Нащупать бы хоть хлипенькое пространство адекватного разговора, чтобы не про «Слышите ли вы голоса?» и не про «Как давно вас преследуют?», а как-то по-человечески.

— А почему свалили? Не понравилось?

— Да треш просто. — Вадим откашлялся и продолжил громче: — Это типа включите траурный хардбасс для всех, кто устраивается на почту, прости господи, России. Ты сидишь весь в говне, потому что... ну знаешь такую пыль, которая в коробке пазлов остается?.. Вот ты в ней сидишь, потому там эта пыль повсюду. Картонно-бумажная такая, мерзкая...

Потом на тебя орет какой-то хер, потому что у тебя комп завис. Потом на тебя орет начальник, потому что недостача журнала «Тысяча советов дачнику». Потом на тебя орет бабка, потому что она бабка и ей, закономерно, не нравится быть бабкой. И платят типа... фантастическое нисколько. Ну я думаю: я, балин, свободный человек, на черта оно мне сдалось?

— А кем бы вы хотели работать?

Вадим заулыбался — круглыми маленькими зубами с широкими щербинками. Как пацаненок с полным ртом молочных, шатающихся.

— Думаю бизнес открыть. У меня вообще все получается.

— И что за бизнес?

Он проехался грудью по столу еще дальше, приблизив лицо:

— Ты никому не расскажешь?

— Что вы. Врачебная тайна.

— У меня один бизнес уже есть. Клуб с... девчонками, если шаришь. В Питере. Но там дела так себе идут в последнее время, нами копы заинтересовались, пришлось залечь на дно. И мне корешок один говорит, мол, Вэ — это меня так зовут там, в этих делах, Вэ, — раз у нас так хорошо идет с этим делом, можно и оружие продавать начать. И даже в даркнет куда-нибудь выйти. Ты знал, что в даркнете можно купить танк и тебе его по частям пришлют?

— Неужели? — почти прошептал Гранкин.

— Да, серьезно. Я, когда в «Почте России» работал, клянусь, лично выдавал такие посылки. Смотришь — вроде пакет обычный, только тяжелый. А прощупаешь — деталь танка!.. Но мы, конечно, танками барыжить не будем. Там надо завод строить, а у нас в кармане воишь на аркане. Но у меня на даче оружия целый склад. Я увлекаюсь. С Чечни начал. Я до того, как на чеченскую забрали, ни разу даже пневматического в руках не держал, от отдачи окосел, а потом привык.

Гранкин заглянул в карточку, сонно пересчитал год рождения. Две тысячи минус две тысячи... Нет, надо с конца...

— И сколько вам было лет, когда вы воевали в Чечне?

— Семь. Ты мне не поверишь сейчас, но да. Там и не такое творилось. Так вот, с тех пор я набирал целый подвал этого добра в коллекцию, все рабочее, новое, а девать некуда. Тебе ствол не нужен? Скидку сделаю.

— Я подумаю — если что, напишу вам. А можно еще немного про Чечню? Как вас забрали? Если вам комфортно об этом.

— Ой, пффф. — Вадим откинул корпус на спинку стула, и тени ламп нарисовали совершенно новое лицо — пушисто-припухлое, девятнадцатилетнее.

В сияющее лето перед первым классом — лето, которое не знает, что оно последнее лето детства, и вообще мало что знает, кроме молочного супа и черепашек-ниндзя, — в квартиру, от ковров красную, как изнанка желудка, постучался дядькамент. Ноги дядьки убегали к черте между зеленой и белой подъездной краской, дальше шло бочкообразное туловище, потом голова, совсем маленькая — лампочка Ильича под потолком.

— Ну что, Вадик, поехали?

Руки мента протиснулись в дверь, и маленький Вадим, весь в зубных пластинах, утащился в плесневую затхлость. Иногда казалось, что мент до сих пор держит — ветвистыми пальцами, узловатыми переплетениями сухожилий, как выползший из слива ванны ком длинных колючих волос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru